

ЧИТАЙТЕ КНИГИ ОЛЕГА РОЯ

Мир над пропастью
Муж, жена, любовница
Улыбка черного кота
Дом без выхода
Капкан супружеской свободы
Обещание нежности
Нелепая привычка жить
Амальгама счастья
Обняться, чтобы уцелеть
Украденное счастье
Барселонская галерея
Эдельвейсы для Евы
Мужчина в окне напротив
Сценарий собственных ошибок
В сетях интриг
Галерея «Максим»
Банкротство мнимых ценностей
Вдали от рая
Паутина лжи
Игра без правил
Шаль
Тайна
Искушение
Тот, кто стоит за плечом
Письма из прошлого
Три краски
Одно чудесное пари
Человек за шкафом
Повторный брак

Дочки-матери, или Каникулы в Атяшево
Я тебя никому не отдам
Привет, моя радость!
Двойная жизнь
Фамильные ценности, или Возврату не подлежит
Писатель и балерина
Семь признаков счастья
Маскарад на семь персон
Синдром Атяшево
Не оставляй меня, любимый!
Код личного счастья
Тайный шифр художника
Зов дельфина
Герой ее романа
Верь в меня
Домовой
Запасной козырь
Принцесса отражений
Римские каникулы
Будем как боги
Зеленая тетрадь
Прости
Неслучайные встречи

Диалогия «Белый квадрат»

Лепесток сакуры
Захват судьбы

Трилогия «Три цвета любви»

Три цвета любви
Три ступени вверх
Три судьбы

*Памяти моего сына Женечки
посвящается*



Пролог

Мартовское солнце ударило в сияющие, чисто вымытые окна маленькой кофейни на Тверской с такой неожиданной силой, что люди, сидевшие за столиками, восторженно заулыбались негаданным солнечным зайчиком на своих белых фарфоровых чашках. Это был первый проблеск тепла в истощенную слякоть, хмурю, уставшую Москву. Посетители расслабленно шурились, с удовольствием подставляя солнечным лучам лица, покрытые легким, дорогим, но искусственным загаром. Весна... Солнце... Это было так чудесно! А потому незаслуженным оскорблением, нелепым посягательством на их права показалась людям странная фигура, внезапно появившаяся у окна со стороны улицы и загородившая солнце.

Эта фигура не имела ничего общего с respectableм, элегантным фасадом главной улицы столицы. До

смешного долговязый (явно больше двух метров), до неприличия грязный и оборванный человек оскорблял даже взор собрата-бомжа, вылезшего на Тверскую, потому что сквозь его лохмотья проглядывало не только немытое, но и покрытое язвами тело, а лицо и руки были обезображены многочисленными порезами и ожогами. Он был поистине страшен, этот осколок какой-то неведомой, наверняка криминальной, трагедии, и благополучные посетители кафе отреагировали на его появление единственно возможным способом: они отвернулись, не желая испытывать чувство стыда и неловкости.

Какая-то женщина тихонько вскрикнула, сидевший прямо у окна хорошо одетый господин торопливо замахал на бомжа рукой, нетерпеливыми жестами приказывая ему отойти прочь, но оборванец не замечал этих жестов или же не понимал, что его гонят. Жадно вытянув шею, разглядывая разноцветные столики, аппетитные пирожные на тарелках и цветущие веточки в маленьких вазочках — неперенные атрибуты богатой, изысканной жизни, — он точно вбирал в себя недоступные ему образы и ароматы, чтобы представить себя на месте этих людей, столь же далеких от него, как если бы это были марсиане. Человек явно озяб и был голоден; он смотрел на чистенький и ухоженный мир кофейни как на уголок давно потерянного рая, вновь обрести который для него было, пожалуй, совершенно невозможно.

— Эй, ты, быдло! Ты что, не слышишь меня?

Грубый окрик за спиной заставил бы вздрогнуть и обернуться кого угодно, но только не этого странного бомжа. Теперь этот человек, возраст которого с трудом



поддавался определению, был занят совсем уж немислимым занятием: он поднял вверх худую правую руку, сложил пальцы так, как делают, держа хрупкую чашечку, опасаясь ее повредить, и, кивая головой, подносил воображаемый кофе ко рту. Если бы молодой сержант милиции, который подошел к нему уже вплотную, обладал психологическим чутьем, он сумел бы по скупому, не вытравленному до конца изяществу жестов догадаться, что бомж этот знавал лучшие времена и что пальцы его помнят вес фарфора, а потому и передают ритуал застолья так бережно. Но стражу порядка, «при исполнении обязанностей», было наплевать на все эти ненужные тонкости, и почти детская, трогательная игра голодного человека только обозлила его.

— Я тебе уже битый час ору, — громко и недовольно сказал милиционер, остановившись наконец прямо перед нарушителем и чуть покачиваясь на широко расставленных ногах. — Какого хрена ты вылез на эту улицу из своих вонючих подвалов? Что шляешься? Может, теракт готовишь? — И он сам усмехнулся своему предположению: таким бессмысленным оно показалось.

Бомж ничего не ответил. Он смотрел прямо на сержанта спокойным, чуть удивленным взглядом, в его глазах, казалось, плескались синие волны, и что-то теплое вдруг мелькало при взгляде на собеседника, на улицу, на проходящих мимо людей. Как ни странно, он не выглядел испуганным, скорее непонимающим.

— Ты что, не слышишь меня, что ли? — невольно сбавил обороты милиционер, голос его зазвучал тише и мягче. — Ты, может быть, совсем идиот? Тогда тебе

тем более нечего на Тверской делать. Иди, иди себе... — И он начал тихонько наступать на бомжа, тесня его в сторону полукруглой арки в переулочек.

Но тот стоял по-прежнему неподвижно, словно не замечая ни угрожавшей дубинки, ни нервно шарахающихся в стороны людей. Молодая дама в шубке из голубой норки брезгливо подобрала полы одежды и нарочито опасно прижала к груди дорожную сумочку — этот жест окончательно решил судьбу бомжа. Милиционер не мог больше позволить ему находиться здесь, а потому, вздохнув с непривычным и непонятным ему самому сожалением, вызвал по рации наряд.

Патрульная машина подкатила так быстро, как будто ждала вызова на соседнем перекрестке. С любопытством остановившаяся неподалеку старушка, удовлетворенно кивнув головой при виде наряда, забормотала себе под нос: «Ведь могут же работать, когда захочут...» — и заковыляла в сторону Кремля. Неторопливо вылезший из машины старший чин окинул все еще неподвижную фигуру брезгливым взглядом:

— Из-за него, что ль, звал? Этого забирать?

— Этого, товарищ старшина! — гаркнул милиционер, крутившийся рядом с застывшим на месте бродягой. — Смотрите, какой он... ужас прям!

— М-да... Нет, эту тварь я в машину не пушу. Кто после него салон будет хлоркой отмывать? Гони его с Тверской, да и все тут.

— Как гнать-то? — жалобно протянул сержант, сдвигая на вспотевший лоб вмиг ставшую тесной форменную ушанку. — Он не реагирует ни на что, молчит, не



двигается... Малахольный какой-то. И кожа вся в язвах, видели?

Старшина, только сейчас в подробностях разглядевший скорбную фигуру, присвистнул от изумления и протянул:

– Ну и ну! Прокаженный, что ли? Ты его хоть руками-то не трогал, баран?

– Нет, – покачал головой милиционер, – не трогал.

– Ну и ладно. Давай-ка мы его в переулочек, в переулочек, и с глаз долой. Нечего добропорядочных граждан смущать. Нечего, нечего, гражданин, идите себе...

И они, привычно и скорее для проформы, нежели с подлинной злостью, матерясь, начали теснить нелепую высоченную фигуру в лохмотьях в арку. Бомж, наконец уразумев, чего от него хотят, закивал головой и покорно двинулся прочь с центральной улицы. Однако, зайдя в арку, остановился, прислонился к стене и снова замер, обхватив свои плечи и дрожа всем телом.

Зубы его выбивали ритмичную дробь, сердце замирало и ухало, точно скатываясь в пропасть. Ему было холодно и одиноко. А самое страшное было то, что бомж не помнил, как оказался здесь, в Москве, и что с ним случилось в том городе, который он привык считать родным. Все это время он с замиранием сердца ждал, что милиция станет спрашивать его, откуда он взялся, как попал сюда, а он не сможет ответить на этот простой вопрос, потому что сам не знает. Но, как выяснилось, подробности его биографии никому не были интересны, главное, чтобы он не пугал своим видом посетителей нарядных кофеен... И, глядя в спину уходившему на

ряду почти с тоской — все-таки это были люди, хоть на мгновение проявившие к нему интерес, — божж снова двинулся по Тверской.

Он хотел добраться до какого-нибудь подземного перехода и присесть хоть бы на полчаса: ноги уже отказывались держать его, колени словно одеревенели. Может быть, ему подадут какую-нибудь еду: он сам видел, как иногда сердобольные старушки кидают нищим не деньги, а сосиску или кусок булочки. Непроизвольно слотнув слюну при этой мысли, божж быстро и уже не заглядываясь на сверкающие витрины зашлепал по чавкающей мостовой. Ноги тонули в московской грязи, брызги разлетались во все стороны, и, заметив, что солнце уже скрылось за тучами, он невольно усмехнулся появившейся неожиданно мысли: неужели даже весна здесь, на Тверской, выдается только за деньги? Тем, кто сидит в дорогой кофейне, — пожалуйста — солнышко. А тем, кто нищ и бездомен... Но додумывать эту мысль было неприятно, и, вздохнув, божж оставил свои философствования.

Где-то здесь, совсем рядом, — он помнил это хорошо, — должен быть вход в подземку. И в самом деле, буквально через пару минут он обнаружил перед собой круто спускающуюся лестницу и, не помня себя от радости, рванул вниз, в гулкий, сырой, заполненный чужими голосами и лицами туннель.

Прямо перед ним засияли витрины подземного магазина. Наученный горьким опытом, человек испуганно отшатнулся от сверкающих стекол в сторону и, найдя наконец в переходе относительно укромный уголок, с крих-



тением уселся на пол. Прямо над ним пестрела огромная театральная афиша; наискосок девушка продавала весенние цветы; напротив, за продуктовым киоском, хвастливо выставившим в ряд кондитерские изыски, сидел одноногий нищий, небрежно привалившись к стене, а совсем рядом с ним упоенно ковырял в носу какой-то малыш, разглядывая шоколадки... У бомжа тоже когда-то был маленький брат... младший... тоже любил конфеты... Неясное воспоминание — отзвук далекой, неправдоподобно прекрасной жизни — мелькнуло и тут же исчезло, перебитое реальным, грубым, но зато таким обнадеживающим звуком: звоном монетки у его ног. Монетка кружилась, звенела и пела, и, словно в полусне, он протянул к ней руку — нет, не к ней, а к тому, что она воплощала в себе: к еде и теплу, защищенности и свету...

Дальше все произошло в мгновение ока. Рослый хромоногий парень в камуфляже, примостившийся было по соседству с бомжем и аккуратно поставивший перед собой для сбора денег перевернутую шапку, теперь, не говоря ни слова, навалился на незнакомца и принялся выламывать ему руки, пытаясь добраться до жалкой монетки. Деловито сопя, он колотил соседа по голове и спине, не выказывая, впрочем, признаков особого озлобления и лишь повторяя:

— Это мое место. Понял? Мое место...

Бомж молчал, но истово сопротивлялся. Он совсем ослабел от своих долгих мытарств, но знал, что слабеет еще больше, если сейчас отдаст монету. Ведь тогда его точно прогонят отсюда и он не сможет поесть...

А его противник тем временем нажимал все сильнее, по-прежнему приговаривая:

— Это мое место. Я всегда здесь сижу. Отдай деньги.

Возможно, еще немного — и человек перестал бы бороться, потому что борьба уже казалась ему бессмысленной. Но помощь пришла, откуда не ждали, и он услышал над собой тягучий, прокуренный, немного гнусавый голос:

— Оставь его, Серый. Пусть сидит с нами. Не обеднеем.

Одноногий старик, давно наблюдавший за новеньким из своего угла за ларьком, теперь приковывал к месту схватки и заговорил тоном человека, не привыкшего к возражениям.

— Но я всегда здесь сижу. Это мое место, — возразил парень.

— Оставь его, я сказал, — еще строже повторил одноногий. — Не видишь, что ли? Это же настоящий... Пусть подкормится немного. Да и шум нам совсем ни к чему; чего доброго, на твои вопли еще Борисыч явится, тогда хлопот не оберешься.

С шумом втянув в легкие воздух, скорчив недовольную физиономию, парень отошел к своему месту и недовольно отвернулся к стене. Бомж все так же молча поправил на себе лохмотья, опустил в карман монетку, не взглянув даже, насколько велика была ее покупательская способность, и, улыбнувшись, кивнул так вовремя появившемуся заступнику. А одноногий, усевшись с ним рядом на заплыванный пол, помолчал немного, пожевал папироску и лениво спросил:

— Чего молчишь? Немой, что ли?



— Нет, — впервые разомкнув изъеденные язвами губы, нехотя пробормотал бомж. — Просто голодный.

— Ну, это беда поправимая. Сейчас вот мы кликнем кого-нибудь... да вот хоть Сашку. — И он кивнул мальчику, который уже несколько минут отирался рядом с ними, с любопытством глядя на разворачивавшуюся сцену. — Давай-ка, малец, сообрази нам шаурмы какой-нибудь или там шашлычка немного. Скажи Зауру, пусть не жметя: это для меня лично, все за мой счет.

И, подождав, пока мальчишка исчезнет из поля зрения, неожиданный благодетель вновь повернулся к незнакомцу.

— Так что у тебя с лицом? — спросил он как ни в чем не бывало, без всякой брезгливости разглядывая испещренную ранами кожу.

— Я не знаю.

— Не знаешь или не помнишь?

— Не помню, наверное. — Бомж пожал плечами. — Помню только, как жегся огонь... Было больно.

— А-а, — понимающе кивнул одноногий. — Пожар, стало быть, приключился. И где это было?

— Не здесь. Далеко отсюда. — Бомж по-прежнему еле шевелил губами, точно каждое слово приносило ему нестерпимую боль, а каждое воспоминание — душевную муку.

— Не в Москве?

— Нет. На Черном море.

— На Черном море?! — непритворно изумился спаситель. — Так как же тебя сюда-то занесло?

Бомж молчал, привалившись к стене и уставясь в одну точку. Сотни ног шаркали мимо него по подземному пе-

реходу, и их равнодушный шелест напоминал ему какое-то давнее, хорошо знакомое, даже любимое ощущение. Ну да, конечно! Вот точно так же шелестели и шумели, накатываясь на него и снова убегая прочь, волны... Так же монотонно гудело море... Так же скучно и долго шуршали страницы большой тетради, которую листал тогда этот хмурый доктор, пока не закричал вдруг страшным голосом на женщину: «Вот только погорельцев без паспорта мне тут не хватало! Ты что, не знаешь, что это была за лаборатория?! Убери его отсюда!...»

Да, в лаборатории ему жилось хорошо. Много интересной работы, и хорошей еды, и отличных друзей... А потом случился пожар. И дельфины, его дельфины... они все погибли! Задыхаясь, впервые вспомнив об этом с такой непреложной болью и ясностью, он беззвучно заплакал, и одноногий нищий, все это время внимательно наблюдавший за ним, похлопал его по плечу и сказал:

— Ладно, хватит. Поешь вот пока.

Оказывается, перед бомжем уже лежали на картонной тарелке сочные, аппетитные куски мяса, распространявшие упоительный аромат. Судя по всему, одноногий был здесь кем-то вроде предводителя; во всяком случае, неведомый Заур приготовил для него и его гостя кушанье по первому разряду. А бомж даже и не заметил, когда ему принесли еду; голод, как ни странно, отступил перед внезапно нахлынувшими воспоминаниями, и, торопясь и перебивая сам себя, он вдруг заговорил, глотая слова:

— Там выгорело все дотла. Многие погибли. Меня обожгло, поранило... Мне было плохо.



— Так ты не заразный?

— Нет. Правда, в больницу меня не взяли, но медсестра дала мне одежду и проводила на вокзал. Сказала, что теперь я могу ехать домой, в Москву, к своим родным.

— Ты москвич?

— Наверное, был когда-то. Я не помню, — отмахнулся бомж. Эти подробности казались ему сейчас совсем несущественными; гораздо важнее было выговориться до конца, раз уж он сумел вспомнить все это. — Денег у меня не было, и я залез в какой-то почтовый вагон. Я слышал еще раньше, что так можно путешествовать... Грузчики, наверное, отлучились на время; меня никто не остановил, и я устроился на мешках с письмами. Там были и посылки. Я вскрыл одну, взял конфеты и печенье. Было вкусно... — наивно, почти по-детски, похвастался он. Потом вновь замолчал, и нищий больше ни о чем не стал расспрашивать. Закурив новую папиросу, он устался в одну точку и задумался о чем-то своем. Еще одна поломанная судьба, еще один потерянный человек. Сколько видел их одноногий на своем веку! Одной трагедией больше, одной меньше, какая разница? Все они давно перестали интересовать старика, потому что ничего нового не было для него ни в человеческих страданиях, ни в человеческой подлости.

А обожженный, покрытый язвами человек, неожиданно деликатно и осторожно принявшийся за еду, отчего-то совсем не чувствовал вкуса мяса. Он вспоминал те конфеты, которые стащил из открытой посылки, — какие они были вкусные, и как быстро они кончились. Почти такие же вкусные, как те, которыми

в детстве угощала его мама... Был такой же мартовский полдень, когда они вчетвером сидели за празднично накрытым столом (какой же это праздник отмечают в начале марта? Вот ни за что не вспомнить!), и отец кормил шоколадками из коробки младшего сына. Старший тоже потянулся за конфетой, но отец шлепнул его по руке и строгим голосом сказал: «А тебе уже довольно. Ты и так много съел». Интересно, почему отец не любил его?.. Бомж подумал сейчас об этом без всякой горечи, потому что его очень любила мама, и этого было довольно. Вот и тогда она протянула ему под столом целую горсть замечательных нежно-коричневых, округлых и квадратных, с разными начинками конфет..

А в поезде он, должно быть, потерял сознание от боли и пришел в себя только в Москве, на вокзале, — кто-то грубо тряс его за плечи, изрыгая потоки отборнейшего мата. «Вышвырните его отсюда, — как сквозь сон, звучал в ушах чей-то голос. — Посылку списать на потерю, в вагоне навести порядок. И чтобы больше такого не повторялось...»

Он дня три бродил по Москве, то узнавая, то не узнавая кривые привокзальные улочки и переулки. Отсыпался в незапертых подъездах, рылся в помойках, надеясь найти хоть что-нибудь съестное, мерз под весенним дождем... Потом вдруг вышел к Кремлю, но на Красную площадь зайти не решился, хотя ему почему-то этого очень хотелось. Это была площадь его детства, и он еще помнил, как их класс водили на экскурсию в музей Кремля... Но теперь он поспешно свернул на Тверскую, которая показалась ему понятней и безопас-